

БОРИС ФИЛИППОВ

 ТУСКОЕ
ОКОНЦЕ

Борис Филиппов

БОРИС ФИЛИППОВ

Тусклое оконце

**Рассказы. Стихи.
Очерки.**

«Русская Книга». Нью-Йорк, 1967.

Обложка работы Николая Сафонова

Copyright by author. 1967.

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

ЛЕСНОМУ ЗВЕРЮ —

с великой преданностью

КУРЯТНИК РАДОСТИ

Три рассказа

*... курятник радости,
амбар волшебного життя ...*

Н. Заболоцкий

БЛАЖЕН ИЖЕ И СКОТЫ МИЛУЕТ

Помнишь ты нашу музыкальную комедию? Тогда, в Полтаве, я пела главную роль в «Баядерке». Молодая была, и хотя и полная, но полнота была приятная, пикантная. Теперь даже подумать смешно, что выходила на сцену в легких голубых шелковых шальварах и узеньком-узеньком шелковом черном — с блестками — бюстгальтере.

У моей первой бруклинской кошечки — беленькой и нежной — на груди вот именно два таких черных узких пятнышка: я и назвала ее Баядеркой . . .

Оперетта. Да, конечно, по музыке там — опера выше. Но в оперетте зато нужен блеск: не только пение, а и игра, и танец, и задор особый: нет, для меня нет ничего выше оперетты! Мелодия, прямо вонзающаяся в душу, возьми, например, «Сильву»:

Сильва, ты меня не любишь

Сильва, ты меня погубишь . . . —

как пел это наш тогдашний премьер — Олесь Гришко, по сцене — Ромуальд Днепров! Тогда

мы жили с ним — и как трудно было мне тут же, на сцене, не броситься к нему в объятия, разыгрывать опереточную неприступность . . .

Частица чёрта в нас
Заклучена подчас . . .

Моя пушистая, мягонькая «Сильва», может быть, любимая моя кошечка. Если бы ты видела — какая она душка! Но диковатая, никому в руки не дается, признает только меня . . .

Олесь . . . Ромочка . . . Как я его любила! И ведь знала, что все равно он уйдет от меня . . . Но вот странность, — рыдала я, готова была даже руки на себя наложить, когда он ушел-таки, да еще за год до того, как перевелся в Свердловскую музкомедию, а вот зла на него не было и нет, был он какой-то очень простой и светлый, умевший любить, но недолго. Что же? Что кому дано . . .

Этот мой котик подобран не в Бруклине, как другие. Была я в гостях у землячки в Манхеттене. Возвращаюсь домой, подхожу к подземке, а у ног моих трется ласковый-ласковый, худющий-прехудющий котеньш. И глазки ясные, добрые, голубые, как у Ромочки . . . Как у Олесь . . . Взяла я его на руки, — он не боится, сразу признал во мне хозяйку, громко так и радостно затарахтел-замурлыкал: — Ромочка мой! Олесюшко!

Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?

Самый он у меня ласковый котешко . . . ко всем ласкается, общительный, глаза, как звезды . . .

Ушел тогда Ромочка к этой драной кошке Аде Новицкой: потом перешла на дублирование вторых колоратурных партий в Харьковскую оперу. Визжалка несчастная!

После Ромочки премьером у нас стал более пожилой, и притом скорее баритон, чем тенор, — Миша Шапиро, по сцене — Светозаров. Не было в нем ни той лиричности, ни того обаяния. И с женщинами был хамоват — не было таланта в любви. Своего самого наглого и настойчивого кота я так и назвала — Мишкой... И все-таки — неплохой был мужик, и, несмотря на грубость, товарищ хороший: никогда никого не подсиживал, а в нашей среде это редко...

Помню, Ромочка еще жил тогда со мной: всюду, на гастролях, мы и останавливались вместе. И на одном вечере — Новый год мы встречали — начал ко мне Мишка приставать с ухаживанием: приставать настойчиво и грубовато. Ромочка побледнел и плеснул Мишке в рожу вином. Тот только расхохотался: — Олесь, чего ты разыгрываешь и в жизни опереточного героя? А Ромочка так разволновался, что слова сказать не мог. Это верно, он бывало и в жизни немного играл, как на сцене: ну, так что же? Ведь все героини-любовники и в жизни играют те же роли. Тогда еле-еле помирил Рому и Мишку наш дирижер Исай Берлин: музыкальный был человек, скрипач прекрасный, и большой души человек! И характер легкий... Не могла и его именем не назвать котика: такого же горбоносого и черного...

А теперь, в Бруклине, я уже — домашняя хозяйка: куда мне, с моей одышкой, где-нибудь выступать, да и годы не те. Муж у меня археолог, имеет маленькую работу от университета, вот и живем. Он мне всю мою кошачью страсть какими-то египетскими мифами поясняет. Книжный насквозь человек. А я не могу: как увижу бездомного котикшу — так и тащу к себе в дом. Пришлось вторую квартирку снять — в нашем же доме освободилась — для кошек: их у меня сейчас сорок одна . . . Точнее, — восемнадцать котов и двадцать три кошки. Дорогонько, конечно, но, видать, Бог не оставляет без награды за доброе дело. От домохозяев, что ли, узнал о моем кошачьем питомнике некий мистер Дэйвид Джекобс, и стала я получать от него регулярно чеки на кормление кошек. Первого же котика, подобранного после этого, назвала, понятно, Давидкой.

А тут беда — оно, конечно, мой кошатник достаточно беспокойный . . . Не могу же я держать вместе котов и кошек — они у меня под запором в разных комнатах. И вот, в определенное для любви время, такой они поднимают вой, что хоть святых выноси. Но ведь иначе, если не держать отдельно, их через год несколько сот будет. И калечить их — холостить — нет охоты. Кроме того — вонь, конечно. Вот месяц тому назад и получила я предписание домохозяев — очистить обе квартиры. Куда деваться? Куда идти — ведь с таким кошачьим гаремом никуда не возьмут . . .

И опять выручил мистер Джекобс: пришел, пожевал губами, потрепал по спинкам моих котиков (противный Мишка куснул его и оцарапал) — и тут же написал мне чек на четыре тысячи долларов: покупайте дом, а вот, мол, и подарок вашим зверям от американца-котолюбца — на задаток... У него самого тридцать четыре собаки и две черепахи, но кошек только двенадцать — по числу месяцев в году: так каждая и названа...

1964.

У С Ы

Ну, разве это борщ? Такой ли делался при Нюте? Вот то был борщ! И настоящий полтавский — со старым салом, и флотский, и . . . Ничего не скажешь, большая была мастерица. И на все руки — за что не возьмется. Тогда в нашем ресторане было не протолпиться — еле успевали подавать . . . А теперь — что́, жалость одна . . . Давно бы прикрыл, да все здесь ее напоминает, каждый гвоздь с нею вместе вбивали, каждую кастрюльку вместе покупали.

И нажил все благодаря Нюте: не давала она моей природной лени разгуляться: все тормошила, понукала, грозила, что уйдет, если буду лежебочить. А была совсем не жадной, даже к нарядам. Редко встречал бабу, которая так бы мало интересовалась бабьими тряпками. Зато — что не нацепит, все ей было к лицу: гибкая и стройная, как хлыст, не суетливая, а никакого покою — ни днем, ни ночью. А глазищи — белков прямо не видать: черные-черные, а в темноте прямо-таки светились. И походка быстрая и мягкая, неслышная, как у кошки. Должно быть — не без цыганских кровей.

Приехали в Нью-Йорк, я без языка — до сих пор по английски знаю слов двадцать, — ну, куда сунешься? Только на черную работу. А она все не дает мне роздыха: раз, мол, при ежовщине не пропал, как-то умудрялся прожить, то и здесь нечего приbedняться: ворочай мозгами! А пока сама все выбегала, высмотрела и устроилась на фабрику гардин — шить занавески на тутошные широченные окна: Нюта ведь и шить мастерица. И язык как-то невероятно быстро стала постигать: женщины много легче нашего брата усваивают чужую речь.

Думал я думал, вышагивал по городу пешком целые мили — все приглядывался и раскидывал — что к чему. А Нюта тормозит, торопит, сердится. Правда, ни разу куском хлеба не попрекнула, мол, на ее счет живу. Но я-то понимаю. Мне-то — нелегко. Наконец мелькнуло у меня что-то в голове. Было это у шестнадцатой улицы, в Центральном парке. Знаете, где старые извозчики на старых ошарпанных фаэтонах катают желающих почувствовать — чем был Нью-Йорк до подземок и автомашин. И извозчики-то все старички, и лошади их уже на склоне лет — смены-то им уже не предвидится, а деньгу загребают большую. Поглядел я и на себя в магазинное зеркало: морда с мешками под глазами, на носу рытвины и синеватые жилки, фигура — мешок мешком: пятьдесят пять лет, да еще в советчине, человека не красят. Но вот — усы. Сейчас они, — видите, совсем поседели, а тогда были еще почти темные, только чуть с проседью, а и в те поры, как те-

перь, были как у моржа. Или как у запорожца. Подвей их вниз, нарядись в шаровары и свитку, нацепи папаху с длинным острым верхом — тогда только трубку в зубы — и готовый Тарас Бульба. Вот и надумал я в таком виде ребяток в Центральном парке и на ближайших улицах на осле катать. Скажете — запорожец — и катанье на осле: какая уж тут историческая правда! Да ведь американца поразить надо, а будет там маленький Джо и его папаша или мамаша разбираться — что́ к чему, и как им знать — что́ такие казаки делали. А костюм и усы такие, каких не часто встретишь. Вот как с ними договориться? . . Ну, и тут быстро смягкитил: нужда научит, да и Ньюта покою не давала: нашел, мол, чем заняться, Паша? Разыскал я Григория Самойловича Герштейна, с которым вместе в Америку на пароходе ехали, рассказал ему про свою затею, говорю, что все хорошо, но языка вот у меня нет, да и лучше было бы с подручным, который бы ребят на осле и со мною, как поводчиком, снимал — и тут же эти моментальные фотографии им вручал, да и объяснялся бы по-английски, а я, мол, казак — немой от рождения. А Григорий Самойлович тоже никуда еще не приткнулся, с племянником своим, что выписал его из лагеря перемещенных лиц, что-то не поладил, лет ему за шестьдесят — такого на работу не берут. А он и по-английски немного лопочет, и фотографией занимался сыздетства, и немного на скрипочке пиликает: я, говорит, буду рядом идти, в таком же костюме, и играть на скрипке «Виють вит-

ры» и «Ой, за гаем, гаем», а при конце катального времени — снимать ребенков на вашем фоне и на осле — вот и прекрасно . . .

И что же вы думаете — пошло дело. Через неделю второго осла и еще одного нашего парня — помоложе нас с Григорьем Самойловичем, лет эдак на десять, принаняли, а через месяц — еще двух. Деньга завелась. Только чувствую: надо это дело бросать: приедаться начало — тут все хорошо, когда в новинку. Но когда есть монета — уже лучше и легче сориентироваться. Вот и надумали мы с Ньютой тогда этот ресторан — русско-украинский — «Параска с Полтавщины». И пошло дело: живи, да радуйся. Работы, правда, невпроворот, но не надо много вороваться: сиди на месте — и деньгу считай. Да не тут-то было.

Тормошит меня Ньюта, всё недовольна, всем недовольна, ругается. Ходит сама не своя, хмурая, глаза, как у ведьмы горят — прямо чёртovy угли.

— Чего тебе надо еще? — спрашиваю. — Собственное дело у нас, небольшое, но прибыльное, так никогда мы с тобой ведь не жили — ни в чем себе не отказываем, все у нас есть, чего еще желать?

— Не в том дело, — отвечает, — а в том, что под лежащий камень вода не течет. Ты при таком спокойе в кусок сала превращаешься, весь жиром заплыл, в жизни же нужно только вперед и вперед . . .

— Дура, — отвечаю, — ведь и отдохнуть человеку когда-нибудь пора приходит, немало

ведь мы в своей жизни помыкались и наломались. Пора и честь знать.

— Тебе, — отвечает, — может и пора, а мне ведь на двадцать меньше. Уйду вот от тебя, и вся недолга.

— Куда ты можешь уйти, когда ты мне жена, — повышаю голос. А она:

— Какая я тебе жена, когда мы не венчаны и нигде не записаны . . .

Ну, тут я озлился. Ведь знала же она, что у нас, в федосеевском согласии, мы окручиваемся сами, попов не признаем, а мы с нею уже шестой год как муж и жена живем. А она смотрит на меня, что змея, да еще дразнит: усы мои пальцами изображает: мол, как у моржа, и всегда, мол, на них борщ или подливка застревает, и я их противно обсасываю . . . И в глазах не смех, а злоба. Хотел я ее тогда в первый раз в жизни ударить, но поглядел на нее, а она от злобы, от ненависти вся дрожит и вьется, и ее груди мелкой дрожью такой под кофточкой . . . Не стерпел, схватил ее, и как будто мне не пятьдесят семь, а двадцать, будто весь хожу дымящийся, на бабу не могу взглянуть . . . Ресторан в тот день на два часа раньше закрыли — и не помню уже, как и опомнился.

Но с того разу все чаще и чаще стала она задумываться и все чаще ненавистно на меня глядеть: вот уж никак не могла пережить покой: все чего-то нового да трудного. А ночью, как в любви, начинала плохо ругаться. И раньше было это, но так мерзко никогда прежде она не выражалась. Оно, конечно, как ложиться с

нею, я иконы — по дедовскому еще завету — занавешивал, но ведь такая ругань... А то вдруг спрашивать начнет: так твой дед, говорит, сам себя сжег и всю свою семью — чтобы не поддаться антихристу? — «Сжег, — отвечаю. — Даже в газетах об этом много писали. А отец один — было ему тогда четырнадцать — в Питер убежал, тем и спасся. Заранее вызнал, когда гореть, и подался. У деда, отца своего, спер три целковых, и так-то зайцем по железной дороге и удрал. Там долго мальчиком в лавке у дяди проработал, а потом выбился в люди».

— Поинтереснее тебя, покрепче твои дед и отец были, — прямо шипит мне, — а у самой глаза, что адские угли. — Морж, — говорит, — сопатый.

Ну, тут я не выдержал. Здорово ее ударил. Правда, не по лицу, а по спине и заднице. А она, голая ведьма, как кинется мне в глаза, чуть не выцарапала, не смотрит уже на удары, а визжит и ногтями, ногтями. И опять мы с ней до утра забылись. На утро — голова, как котел пивной. Но она не успокоилась — ходит сама не своя. Ушел я за покупками, ворочаюсь — нет ее в помине: записка: не ищи, морж проклятый, лежебока. Другому бы битые спустила, но не тебе... Ничего не взяла. Так и ушла — без копейки и без тряпок даже: в старом платишке и пальтишке. А ведь всё наживали вместе — за кого она меня принимает, думаю, — это еще более обидно.

Так и не вернулась. Два раза ее издали видел: еще больше похудела, все в той же оде-

жонке — видно, не пригулялась ни к кому. Бросался за нею, да ее поймалась разве — змея, ускользнула так, что и не заметил.

Ну, и не могу никак ее забыть: завел для порядку новую хозяйку — да что толку: толстая, белая, ленивая. Днем только с поварами и подавальщицами ругается, да выпьет какую-нибудь водку послаще, а ночью . . . Хоть и старя, но все-таки: только большими ступнями шевелит, да гыгыкает. Приблудные порториканки за десятку, при нужде, — и то лучше. Прогнал — живу теперь один, как перст. И все бы бросил, но все здесь Ньютой сделано, все ее напоминает.

Выпьем, что ли, земляк?

1965.

ЛЮБОВЬ

Нас было пять Борисов и один Павел: геолог Борис Жиганов, химик Борис Якобсон, архитектор Борис Петров, топограф Борис Ветчинкин, бухгалтер Борис Павлюк и экономист Павел Георгадзе.

Что нас объединяло? И то, что все мы шли вместе этапом, и то... — но об этом после. В лагере нас называли — с легкой руки балагура, начальника отдела технического снабжения, Петра Иваненко — «дважды тремя мушкетерами». Был этот Иваненко и сам из бывших заключенных, и женат был на бывшей заключенной, отбывшей свой срок за мужеубийство. Нам всем повезло: по прибытии в лагерь сразу же попали на работу в аппарат управления: Жиганов — в геолого-разведочный, Павлюк — в финансовый, остальные — в производственный отдел.

Все мы были очень разными, совсем не похожими друг на друга. Уральский казак Жиганов, самый старший из нас, пятидесятилетний красавец-великан, был величавым, барского вида, немногословным и вдумчивым. Полной про-

тивоположностью ему был одессит Яковсон: анекдотчик и острослов, неугомонный говорун и Дон-Жуан. Секретарша нашего отдела, Фанни Яковлевна Иваненко, специально для Бориса Яковсона наряжалась в такие голотелесные сарафанчики, сжимала свои обширные груди такими башнеобразными — в разные стороны остриями — лифчиками, что вечно голодные, вечно алчущие хлеба и любви заключенные инженеры так и пожирали ее глазами и томились от вожделения. А Яковсон, весело подмигнув нам, отправлялся в обеденный перерыв помогать Фанни Яковлевне в покупках — в магазин вольнонаемных: и ему щедро уделялась не только ласка: Боря подкармливал и нас от щедрот дебелий секретарши: то подкинет сахарцу, то кусок сала, то аппетитную ватрушку... Павлюк Георгадзе хмуро косился на башни ливанские запретных грудей нашей секретарши (всякое общение с женщинами, тем паче с вольнонаемными, строжайше преследовалось) — и шипел Борису Павлюку:

— У, бесстыжая... Знает ведь, что все мы на нее, как волки зимой на свежую кобылу, зычим... А она... Хоть бы уж не выставляла напоказ свои дразнилки... У нас, в Тбилиси, за такие декольти мужья дó смерти бьют...

А Борис Павлюк, черниговский хлопец, с глазами томными и немного задумчиво-сонными, с поволокой, специально захаживал из своей бухгалтерии к нам — перекинуться несколькими словечками с заманчивой секретаршей, а затем, мурлыча под нос «Котику сэрэнький»,

отправлялся восвояси, пошатываясь как пьяный. Вообще, пусть не утверждают, что недоедание убивает половой голод: напротив, оно даже обостряет его. И еще: никто не рассказывает, например, столько крепчайших анекдотов, как именно заключенные, притом даже такие, как наш сдержанный и элегантный Борис Жиганов.

Самым молодым среди нас был Борис Ветчинкин, схваченный НКВД прямо со студенческой скамьи. Из уфимских староверов, молодцеватый и желторотый, он очень смахивал на молоденького купчика дореволюционной поры. Да и был, кажется, из купеческой семьи. Он один не принимал участия в соленых разглагольствованиях о женщинах, краснел, как девушка, но не упускал ни слова из рассказов Яacobсона и анекдотов Георгадзе.

Я плохой анекдотчик, и когда пытался рассказывать что-нибудь скромное, то Жиганов затыкал уши и прерывал меня:

— Опять солдатское остроумие . . .

И тут вот в машинописном бюро управления появилась новая заключенная машинистка — Любочка Щербина. Была она из Харбина, из числа тех двух-трех десятков тысяч русских, что поддались на советские заманы и «возвернулись» (выражение Павлюка) в Советский Союз, когда Китайскую Восточную железную дорогу оккупировали японцы. Всех воротившихся, понятно, вскоре же арестовали по «П. Ш.» — подозрению в шпионаже, — кое-кого растреляли, а основную массу отправили в лагеря с

разными сроками. Люба, очевидно, по младости лет, получила срок детский: всего три года. Но положение ее было отчаянное: в лагерь, и притом разные, была заключена вся ее семья, на воле не осталось никого. Это значило: никакой поддержки: ни продовольственных посылок, ни денежных переводов с воли — один голый лагерный, всегда недостаточный, паек.

И однажды Жиганов сообщил нам: — Люба достукалась до туберкулеза. Поможем девочке, чем можем. Из каждой посылки из дому часть выделяйте для Любочки.

Откликнулись все мы — «дважды три мушкетера»: вначале даже не испытывая никаких особенных чувств к девушке. Да и была она незаметной: миловидной, но не слишком, умненькой, но тоже не слишком, — так, просто маленькой мышкой. Жалко было ее, ну, и откликнулись. Но однажды Якобсон как-то серьезно, непохоже на него, поглядел поверх наших голов — и бросил:

— А Мышонок — интересная девка . . . Хорошая деваха, я вам скажу . . .

— И что вы находите в эдакой пигалице, — ревниво зиркнула на Якобсона Фанни Яковлевна, но все-таки принесла из буфета вольнонаемных для Мышонка несколько пирожков: баба была сострадательная и добрая. А что убила первого мужа, так мы ее за это даже одобряли: первый муж ее был чекистом, садистом и буквально терзал бедную Фаню. Но она-то сама себя не прощала, иногда плакала тут же, в управлении, в голос, называла себя каторжанкой,

варначкой, и хвалила своего теперешнего мужа: — Пожалел меня: женился на урке, на убивце, а сам-то ведь инженер, и сидел по благородной статье: за вредительство . . .

Заметили мы, что сдержанный и скрытный старик (так мы величали Жиганова) тоже очень равнодушен к Мышонку. Даже анекдоты с салыцем перестал рассказывать, сдержанность еще более возросла. А Паоло Георгадзе совсем расцвел: только бы ему газыри и кинжал с серебряной насечкой — и совсем бы витязь в барсовой шкуре. И Павлюк теперь иначе смотрел на Фанни — и влюбленно напевал своего неизменного «Котика сэрэнького» уже нашему Мышонку. В конце концов, все мы, кажется, повлюблились в нашу Любочку, и эта любовь дважды трех мушкетеров к Любове Щербине еще более сплотила нас.

И все-таки никто даже виду старался не показывать: нам было совестно: пусть не думают, что все мы помогаем корыстно. Но теперь, когда Борис Яковсон начинал рассказывать что-нибудь особенно забористое, мы прерывали его: — Замолчи, хватит похабэли . . . — и Борис покорно замолкал, хотя давившаяся от смеха Фанни Яковлевна и просила его жирным голосом, жирной улыбкой, всем своим жирным станом:

— Боринька, еще какую-нибудь смеховинку . . .

Так незаметно, тихими стопами, вошла в нас Любовь. Любовь чистая, несмотря на голод по бабе, любовь самоотверженная, — несмотря на

вечный голод лучшие куски мы отдавали Любочке, Мышонку, Грызунку. У нас началась даже соревновательная горячка: кто достанет ей больше и лучше.

Выходили мы деваху. Отбили ее от туберкулеза. Расцвела наша Любочка: не только пицца, но и явно чувствуемое ею обожание вернули ее к жизни. И все-таки никто так и не объяснился ей в любви. Я попробовал было написать любовные стихи, но бросил на первой же строфе, а Боря Якобсон начал, уже незадолго до конца срока Любиного заключения, что-то мурлыкать ей, но покраснел, захлебнулся на первых же словах, а потом каялся нам: — Как подумал, что ей через месяц на волю, а мне еще четыре года сидеть . . . Ну, думаю, как же это я, подлюка, начинаю ей про любовь петь . . . Вот, думаю, сволочь!

Вот и кончилось тем, что освободилась она, осталась машинисткой по вольному найму в том же самом бюро, а еще через два месяца освободился наш Боря Ветчинкин, самый, казалось бы, к ней равнодушный, да и сделал предложение. Поженились они, а мы все скопили им из посылок и денежных переводов подарочек. И порадовались. Но и с завистью всплакнули. Ведь голодные. И хлебом и любовью . . .

1965.

НА ПЕРЕЛЕТЕ

СТИХИ

*Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листья с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад . . .*

Пушкин

ПЕТРУШКА

Лирическое скерцо
на тему Игоря Стравинского

Кругом насмешливые лица, —
Сражен безумный Дон-Кихот.
Но знайте все, что есть светлица,
Где Дон-Кихота Дама ждет.

Федор Сологуб.

— Эй, да эй, да эй! Да эй!
Заходите поскорей!
В нашем пестром ресторане
Караси поют в сметане,
Водок радостных соборы
И колбасные заборы!
— Разлука ты, разлука,
Чужая сторона . . .
— Проходи-ка, старина!
— Не протискаешься, мука . . .
— Кому пирогов с печенкой и луком?!
— Эх, эх,
Не цыганочка — грех:
Цыганочка пляшет,
Юбочкою машет . . .
— Ах вы, сени, мои сени . . .

— Никто нас не разлучит . . .
— Ну, что тебя мучит?! —
Всё от скуки и лени . . .
— Сени новые, кленовые . . .
— Подайте, Христа-ради . . .
— Сама сади —
Къя сади-ла . . .
— Здорово, мило!
— Сама буду поливать . . .
— Отвяжись, твою мать . . .
— Помнишь ли ты,
— Квасу! Ленты! Цветы!
— Как улыбалось нам счастье . . .
— Нонче — солнце, завтра —ненастье:
Всему свой черёд: так?
— Вареный рак —
Пара пятак!
— Сам дурак!
— В нашем балагане
Есть шуты с рогами! —
Невелик расход —
Пятачек за вход!
— Нитки, нитки!
— Почтенный, не хватай за титьки:
Я не такая . . .
— Сбитню! чаю!
— Я по мил-ламу скучаю . . .

И, как ветер, врезался флейты кан-
кан:

Холщевый открыт балаган:
Раз, два, три:
Смотри:

Не девка — картина:
Известная Б а л е р и н а:
Пышные груди дрожат под рубашкой,
Глазки стреляют, дрыгает ляжкой —
Милашка!

Номер второй! А р а п. Басурман.
Скучен как догма. Богат как Морган:
Танки,
Банки,
Самобранки —
Молится Богу и бьет в барабан.

Третий: П е т р у ш к а:
Лицо — ватрушка,
Кренделем нос,
Горб в спину врос.

Петрушка — русский,
В курточке узкой,
Немцами сшитой,
Подбородок небритый,
Плюгавый человечиска, битый . . .
Ну, так что ж? —
За поясом нож
Перочинный,
Покрыт Петрушка овчиной.
Но шкура овечья,
Душа ж — человечья, —
Описал бы, да недосужно . . .
А много ли человеку нужно? —
Уголок любви. Еда.
И свобода (иногда).

Любит, бедный, Балерину.
Бьют Петрушку в шею, в спину.
Чернь хохочет. Каждый рад.
Мчится жизни маскарад . . .

Балерина льнет к Арапу,
Жмет удачливую лапу,
Нежно ляжками трясет,
В золотой целует рот.
И Арап в дешевом ресторане
Нежится с красоткой на диване.

— Где они? В ресторане? —
Мчатся петрушкины сани
Прямо к ресторану:
— Ах, не бередите
Душевную рану . . .
Ах, опередите . . . —
Ах,
Застряли в снегах!
Пешком! Бегом!
— На-лево! Кру-гом!
— Стой! — Забежал в отель —
Е в р о п у:
— Ты куда с посконным рылом! —
И кричат, смеются скопом . . .

— Эй, сюда, торговля мылом!
— Вдоль по Питерской . . .
— Всегда свежие пушки, пулеметы,
Самолеты,
Мясо пехоты . . .
— Белой акации —

Акции, облигации . . .
— Грозди душистые . . .
— Шелка цветистые,
— Меха пушистые . . .

Ой,
Петрушка сам не свой:
Его Балерина
С Арапом — скотиной . . .
— Эй, Арап, в бой!
Разделаюсь с тобой!
— Горячие блины!
— Грушевого квасу!
— Публика, подтяни штаны,
Пожалуйте в кассу:
Это тебе — финансы, не черная раса:
Вали гурьбой
На последний бой! —

Убили Петрушку.
Растворжили рожу-ватрушку . . .
Опустела площадь. Смеркается.
Ветер зимний плачет, заливаётся.
Лепит мокрый снежок. Вечереет.
Мертвый остов рынка чернеет.
Осыпались вывески, краски,
Сорваны маски,
Вместо сказки
В талом снеге темнеет
Гнилая доска . . .
Тоска!

А под снегом незванные гости —
Петрушкины кости . . .
Не суйся, Костоправ!
Балерина чиста — я прав! . . .
И в лунных лучах —
Часовому не страх —
Кривляется безумный, бессмертный
Петрушка,
А с ним Балерина — вечная под-
ружка . . .

Свищет ветер песню победную
Про головушку забубенную, бед-
ную . . .
Баста! Еще одну кружку!
За здравье России! За любовь! За
Петрушку!

Декабрь 1942.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Игрушки, подружки Петрушки,
Гармошки простуженный скрип . . .
Петрушка в объятьях Простушки —
И страсти надорванный всхлип . . .

Веселый припев Запевалы,
Под ветром полотнище ширм,
От крови Петрушкиной алы
Кинжалы игрушкиных фирм.

На ширму упала Капрала
Соленая длинная тень, —
Влачится устало и вяло
Осенняя синяя сень.

Целуй же Петрушка Подружку! —
Осенняя песнь зазывал . . .
Обманывай смерть, как простушку,
Под взвихренный треск покрывал . . .

1966.

ВЕРДИ

Плавная ночь. И бренчит мандолина.
В неводе сердце — в длинном луче.
О, полюби бедняка, синьорина,
Сердце, истай в теноровом ключе!

Родину скоро покинем с тобою,
За море рваной толпою уйдем,
Оперных арий привычной гурьбою
Не огласится наш брошенный дом.

Льется мелодия каждой шарманкой,
В душу вонзаясь до самого дна...
Хмурый шарманщик с седой обезьянкой,
О, не спеши: наша участь — одна...

1942.

... Не повторится свежесть поцелуя,
Вишневый сад и юный д'Артаньян, —
И бредит мир, и прошлого взыскует,
До дыр зачитан ласковый роман.

Умрем вдали от русского Тобозо,
Забыв сожженный Богом барский сад,
Попоны похоронного обоза
Сметут былого царственный парад.

Но позабудется тоска надрыва
Под песню Лукоморья и кота, —
И отлетит мирская суета,
И вспыхнет дух над строчками «Обрыва»...

1944.

Против ветра скачет сказка,
Сказка-одноглазка, —
Не взирая на указку,
Кособочит сказка.

— Одноглазка однобока,
Сказка — ложь пустая! —
Так ученая сорока
Хвост свой распускает.

Сбита правда с панталыку,
Ветер хнычет сдуру,
Над научным птичьим шиком
Скалят клювы куры.

Ну, а сказка? — Так же вьется,
За пределы скачет:
Наплевать ей на болотце,
Где профессор плачет . . .

1944.

Среди снопов лютеранский храм,
Аллея среди крестов . . .
О Боже, какой пошлешь ты нам
Душ человеческих улов?

Средь стран сторевших зеленый дол
Река в кустах бузины,
Беседка в саду, зеленый стол,
Крыжовник у хилой стены.

И тишь и гладь. И гладь и тишь —
Как будто нет и войны.
Скребет в норе домовитая мышь,
Кривится рожа луны.

Бредет эшелон, безнадежный как стон,
Прячется в хлебных полях.
Куда он бредет, наш слепой эшелон,
В какой убегает страх?

1944.

«ДОМ ГЛИНКИ»

Развалины берлинского дома,
в котором в 1854 г. скончался
М. И. Глинка. На полуразру-
шенном фасаде уцелел бюст
композитора . . .

(Из впечатлений 1944 г.).

Две пьяные тени плутают впотьмах —
Растерзанный немец и рыхлый русак, —
А маятник жизни быстрит свой размах,
Стуча настороженным: — Так ли? — Не так —

«Вчера обошел я весь свой дом,
Где я умер — тому девяносто лет, —
Его разбомбили, но (выжженный след!)
Мой лик венчает столетний лом.

«Но песни я слышу в Берлине свои,
Но слышу я музыки русской взмах, —
И пусть химерический город стоит:
Пульс жизни новой в мертвых телах . . .»

— Тебе-то легко: ведь з а в т р а — твое, —
Кашляет Глинке Гофмана тень, —
— Зальет мой город славянская лень,
И наше упорство не сломит ее.

— Пойдем в погребок мой — он выжжен и
глух

К готической сказке вещей старух,
Лишь колючие тени летучих мышей
Оведают мой тленный пивной мавзолей.

— Но там я тебе горшок покажу —
Золотой горшок — полифонию грез,
Я тебе о немецкой душе расскажу:
Не убил ее вьюгами русский мороз . . . —

И, качаясь, в обнимку бредут старики,
Их тени сливаются в лунном луче,
А пятнистые блики на медном мече
Курфюста ль, царя ли — равно далеки . . .

1944.

Ну, что ж? — Чужие очаги увидим,
Познаем жен чужих, чужое счастье,
Под чужеземным небом улыбнемся
Несбыточной мечте об искупленье.
Печальной радостью ума упьемся,
Уйдя от всех, кто засекает землю
Родную — или строит терпеливо
Родные дома — перед новой бойней.
Чужое небо холодно посмотрит
На наших мыслей грязные обноски
И дождиком косым на нас прольется,
А чужеземец кинет корку хлеба . . .

1948.

Смейся: улыбка: прозрачна листва:
Сознание зыбко: речка светла.
Сколько уюта: сколько тепла:
Любовь без приюта, без естества . . .

Просветы насквозь весенних дерёв,
Пепел тропинок, илистый ров . . .

Светлое небо
Так высоко,
Винная Геба
Льет молоко.

Льется парное,
В почках кипит:
Ласка без зноя
Девьих ланит.

Заводи, мели,
Красные прутья,
Темные ели
И перепутья . . .

1964.

Клейкой клятвой пахнут почки . . .

Мандельштам.

Сладким клеем брызжут почки
В лужах сколки солнца,
Ива в вышитой сорочке
Около оконца.

А оконце не простое:
Из лесу к заливу.
Солнце блекло-золотое
Гладит девку-иву:

— Наливайся, девка, соком,
Косами склоняйся,
Не гляди прозрачным оком,
Парням улыбайся . . . —

Ну, а ива . . . Эх, плакида! —
Косы опустила,
Глазки сщурила для вида —
И совсем застыла.

1964.

Серебряные трубы
И медные рога,
И шелковые губы
Страстного Четверга.

И свечки, свечки, свечки
На бархате ночном,
Как огоньки на речке,
Как дальний отчий дом.

И привкус чуть с горчинкой
Сушеного гриба, —
Весенняя начинка,
Березок удоба.

И вешние сережки,
И медные рога,
И холодок внарошку
Страстного Четверга . . .

1964.

О, родины дальней зарницы,
Забывшие в дрязгах слова,
Старинных романов страницы,
Седеющая голова.

Забиться, забыться, открыться
Тебе, вдохновенный орган,
Дивиться отважной синице,
Поджегшей седой океан.

И ластятся русские строки,
И песни текут в океан,
Истоки, потоки и сроки,
Недопитый жизни стакан . . .

1964.

На рыжих холмах золотой виноград,
А речка, как прыткий козленок,
Что летнему зною несказанно рад —
Из всех незрелых силенок.

Ломаются в ней виноград и оград
Сквозистый железный просонок,
И на́ небе пышных плюмажей парад
Блистателен, ярок и звонок.

Святой Христофор на одной из аркад,
Христос — позлащенный ребенок, —
Святому безлюдью они не в разлад,
А мост — как котенок он тонок:

Зевая, он выгнулся впрямь невпопад,
Косясь: ох, уж этот козленок!
Руном подопрелым застыл виноград,
Набрякший с медовых просонок . . .

1964.

Солдатский крест, надтреснута душа:
— О, не гони меня! Я не хотел измены!
На рейнских берегах — иль дальней Лены,
Не вспоминая больше, не дыша . . .

И все-таки . . . Когда поет орган,
Душа звенит и стонет под шарманку . . .
Нет, не огни в сутемки, спозаранку, —
И правда, и дурман. И совесть, и обман . . .

К тебе — и от тебя. И только мягких рук
И светлых глаз приветливое: милый!
Плечо навывлет. Чуть не до могилы.
Жена и родина — и сердца мерный стук.

1964.

Седьмая печать сломилась,
Свернулось небо как плат,
Нежданное свершилось
В подножье тронных палат.

Ангелы созывают
Всех, кто был и есть, на суд,
Свергаются в ад, возносятся к раю,
Божья гнева несут сосуд.

Провалы предвечного неба,
Преисподние пропасти земли,
Престолов трубная треба:
— Не погуби, внимли!

Кишат, как черви в ране,
Люди, духи, скот:
Рассечены все заранее
На смерть и вечный живот.

Седьмая печать Завета,
Завеса с небес долой:
Не будет, не было, нету
Тех, кто вернется домой.

1964.

Ну, конечно, ты в ответе.
Ты в ответе, на примете —
Ты в осеннее ненастье,
Старый хрыч, мечтал о счастье.

Счастье, брат, оно с начинкой,
Не возьмешь его починкой.
Ну, а горе — лыком шито,
Всем доступно, всем открыто, —

Светит солнышко сквозь ветки,
Любит горе всех нас, детки . . .
Ты в ответе, на примете . . .
Ну, конечно, ты в ответе . . .

1964.

Да, вот так. Мы будем жить на свете
Никому неведомым быльем:
Перед кем, за что нам быть в ответе,
Нам, покинувшим навеки дом?

Пустота немислимой свободы,
Отвлеченных дум живая речь . . .
Что сберечь нам, пасынки природы,
Что для смутной вечности сберечь?

Горечь беспредельной вольной доли
И уют любимых женских плеч,
Светлый всплеск любовной острой боли,
Страстью захлебнувшуюся речь.

Вот и все. Как беспредельно много! —
Только нищий ласке хлеба рад.
Восхвали же Всеблагого Бога
За Его репьем заросший сад.

1964.

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

Вся любовью, надеждой согрета, —
А простуженный голос тих, —
Не свожу с твоего портрета
Я растерзанных глаз своих.

Почему это так — я не знаю:
Что я знаю — не знаю сам . . .
Ноябрем потянулся я к маю,
Вылезаю из зимних рам.

«Не спознал я любовь . . . во всю
жизнь я . . .» —
Дребезжат чужие слова.
Опадают последние листья,
Облетает моя голова.

А гитара все стонет с эстрады,
И любовью светит портрет.
«Ничего мне, да в жизни — не надо . . .» —
И ноябрьского ветра нет . . .

1964.

ГИТАРНОЕ

... Новой жизни... — А старая бьется,
Огоньком прижигая глаза.
Не раскрутишь веревку — совется,
Не расплачешь тоску за-глаза...

Новой жизни... Соленые всходы,
И к душе проберется слеза...
Эх вы, годы, пропащие годы,
Не зальет вас крутая слеза!

Что ж? гитара дрожит словно память,
И веревка скрутилась — петля...
Листопада колючая замять,
Хриплой песни седая петля...

1964.

Как ёжик для мойки посуды
Вонзается веток гольё.
Нахохленных птиц пересуды.
Полощется ярко белье.
Прозрачно, морозно и хватко . . .
С веревок срывает его
В подоткнутой юбке мулатка,
Толстуха, улыба, зазнайка,
Повидимому — молодайка,
Хозяйка двора своего.
Как бубен белье в подморозе,
В нем ветер бродяжий бубнит,
В стихах и в восторженной прозе
Долбит черномазый бандит.
Снимает белье молодайка,
Синеет белков белизна,
На крыше, очнувшись от сна,
Нахохлились птицы . . .

Дек. 1964.

АРГОНАВТЫ

Аргонавты в плоскодонке —
Парус — рваная палатка —
Лихо мчатся за руном.
Предводитель — сивый мерин:
Путь его давно измерен:
От стены и до стены:
Половицы все равны.
Все мечтают об одном:
Все за счастьем, за руном,
Вождедеют тускло, гадко:
Старичье, дерьмо, подонки, —
Но у каждого душа,
Но у каждого желанье:
Вырваться из тесных стен —
Опротивел тесный плен!
Хоть бы в комнату другую —
Замереть где б, не дыша,
И красавицу немую
— Вспомни стр-растные лобзанья!, —
Хоть Медею, хоть на шею —
— Эту мысль давно лелею! —
Посадить бы, не спеша . . .
Пол замызган, мало влаги,
Спутник мочится открыто:
Пополняет океан:
— Ты плыви, мое корыто, —
В горизонте дверь раскрыта,
Стены скрыл страстей туман! —
А хромуля у руля

Направляет плоскодонку,
Ничего нам не суля, —
В ту родимую сторонку,
Где на стенах нет обоев,
Где под ржание гобоев
Дует ветер из окна,
Стены — кирпичи и доски,
Все желанья скупы, плоски,
В третье зальце — дверь одна . . .
Ветер, в клочья рви туман!
Счастья нет — один обман.
Золотого нет руна . . . —
Ну, так что же? Как же? Что же?
Что пошлешь нам дальше, Боже? —
Те же конуры и стены,
Стены, стоны, стынь и стены,
Страсти спазму, вопль измены,
Если ж дверь — опять на стены . . .
Нету влаги — помочись,
Нету ветра — покрепись, —
И плыви, скрипя, опять:
То ли в стены, то ли вспять:
— Спать. Спать.
— Спать . . .

1964.

СИБЕЛИУС

Снег колкий, яркий и летучий,
Морозный режущий туман,
Валторны ветра песней жгучей
Завьют встревоженный обман.

Виолончель басит о прошлом,
Несбывшемся (и навсегда),
А изморозь на счастье дошлом
Звенит, как дробная беда.

И поступь струнных пешеходов,
Охапки снега, елей вой —
Закутанных душевных восходов
В мехах облезлых зябкий строй.

Ну, пой . . .

1965.

И дерево в окне — среди громад
Домов, зажатых улицей гремящей, —
И неба лоскуток, и водопад
Людей, машин, газет и тягостных шарад,
Бегущих вдаль, куда-то все спешащих.
Луч солнца золотит кирпич армад,
Плывущих в вечность городской невзгоды,
Траву среди камней, пропащую погоду,
Асфальта раскаленный ад . . .

1965.

БЕССМЕРТИЕ?

БЕССМЕРТИЕ?

Вот теперь уже и в советских журналах появляются статьи о бессмертии, как уже о чем-то близком, практически достижимом в самом ближайшем будущем. Недалеко то время, когда продолжительность жизни человеческой будет зависеть всецело от нас самих. Уже и теперь никого не удивляют проект искусственного сердца, аорта из пластики, оживление человека чуть ли не через полчаса после его клинической смерти... Мечта Николая Федоровича Федорова как будто сбывается: мы вплотную подошли к самой важной задаче — преодолению смерти. В рядах советских — и не только советских — атеистов ликование: в ближайшее, мол, время исчезнут всякие основания для веры в Бога: ведь Бог и нужен-то слабому человеческому сознанию, как великий мастер бессмертия, а раз бессмертие и без Бога достижимо, то к чему нам Бог?

Это рассуждение много умнее, чем прежние материалистические благоглупости. Ведь еще глубокомысленнейший Кириллов у Достоевского дал наиболее меткое во всей мировой литературе определение Бога: Бог есть боль

страха смерти. Ну, а раз смерть и — что еще важнее — боль страха смерти преодолены, то какое же место в нашем сознании остается для Бога?! Сознание-то наше всегда корыстно — мы даже не замечаем, не воспринимаем того, что нам в какой-то мере не на потребу.

И все-таки ликование преждевременно и неоправданно. Ведь на Западе и простое лечение, скажем, гриппа, недешево, а уж достижение практического бессмертия будет по карману только очень богатым людям, даже в самом отдаленном будущем. Ну, а в странах коммунистических медицинские институты бессмертия, как и всё решительно при коммунизме, будут находиться в полнейшей зависимости от центрального руководящего жизнью во всех ее проявлениях органа, скажем, политбюро единой партии, а ежели таковая якобы и исчезнет при достижении коммунистического рая земного, то центрального органа управления страной, народом, миром...

В странах прогнившего капиталистического Запада все-таки положение будет получше: люди будут биться изо всех сил, чтобы если не себе, то детям своим обеспечить продолжительнейшую жизнь, если не бессмертие. Будет большая цель, будет подвиг любви, будет самопожертвование. Ну, а в тоталитарных государствах, в государствах коммунистических центральный орган власти и планирования будет бюрократически решать — кому бессмертие, а кому шиш. Подход будет строго социально-ути-

литарный и сугубо политический: тогдашнему, скажем, Хрущеву тогдашние, скажем, Косыгины и Брежневы бессмертия не выдадут ни на копейку, а о тогдашнем Троцком и говорить нечего. Ахматовой и Пастернаку, не говоря о клеветниках Синявском и Даниэле, — все это говорится о будущих Пастернаках и Синявских, разумеется, — бессмертия не видать, как своих ушей, ну, а тогдашним Сурковым, Шолоховым и Демьянам Бедным можно будет продлевать их социально-полезную жизнь до той поры, пока она социально-полезна.

Вот Бог — тот совсем нерасчетлив: он дарует жизнь — и обещание вечной жизни и воскрешения из мертвых — и Неронам, и Иродам, и Аттилам, и разным атеистам, не разбираясь в их полезности для Государства Божия: выбор между вечностью и смертью предоставляется каждому человеку. И здесь для каждого тоже предоставляется выбор: выбрать ли коммунистическое и з б и р а т е л ь н о е, социально-обусловленное бессмертие, — или Бога, не ставящего перед нами весьма неудобноносимых условий социально-политической полезности, как неперемного условия не только нашего бессмертия, но и самой жизни, даже весьма кратковременной.

Бесконечное, только от наших целей зависящее, продление жизни. Оно ведь не только продление, хотя бы и до бесконечности. Оно и некоторым образом преобразование всего нашего физического и психического существа на социальную потребу руководящим ор-

ганам национальной или мировой Коммуны. Ведь при замене обветшавших органов новыми можно, так сказать, направлять наши физические способности в нужную сторону. А социальная педагогика поможет и направлению наших душевных качеств и способностей в нужную для руководящих органов сторону. Вот и будут вырабатываться в нужном количестве и нужного качества — и с необходимой продолжительностью жизни — нефтяники и инженеры, писатели и квалифицированные любовницы, трактористы и композиторы, надсмотрщики и певцы... Представителям дефицитных профессий, как например, чистильщикам канализационных труб, жизнь будет продляться даже вопреки их желанию, зато балеринам, например, достаточно будет мотылькового срока пребывания на земле: кому нужна подержанная танцовщица, хотя бы и сохраняющая видимость молодости? Посвежее — лучше.

* * *

*

Жизнь и бессмертие хороши, когда есть великая цель и великая радость жизни. Не телячий восторг, хотя и он ничуть не плох, а радость, хотя бы и окрашенная в глубокую и духовно-насыщенную печаль: вспомним пушкинские строки:

Мне грустно и легко; печаль моя
светла;

Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой...

Вспомним, что юность, лучшее, может быть, время нашей жизни, — всегда окрашена в тона этой легкой радостной грусти. И Достоевский хорошо сказал, что если бы жизнь, все существование наше превратилось в сплошную Осанну, то стерпеть это не было бы возможности: одно непрерывное восторженное умиление исключает всякое движение — даже отдел происшествий в газетах стал бы невозможен...

Ну, а каждый тоталитаризм, коммунизм в первую голову, требует именно эдакой сплошной Осанны, сплошного восторженного умиления перед самим собой — перед Коммуной. Не только долойство, но и просто усмешка над коммунизмом невозможны: оскорбление не величества даже, а просто грех перед Духом Святым. Недаром социалистический реализм долго проповедовал теорию бесконфликтности: раз социализм построен, — какие могут быть конфликты?! Ну, а когда конфликты — для гальванизации трупa советской литературы — были разрешены, то их ограничили двумя возможностями: конфликтом между подлинно коммунистическими — и персонажами, в какой-то мере являющимися пережитками прошлого; конфликтами, так сказать, количественного порядка: немного излишне осторожный председатель колхоза требует от свинок опороса свиноматок в количестве одиннадцати поросят от свиноматки, а свинок коммунистического труда, в порыве социалистического энтузиазма, добиваются опороса в два раза большего.

И вот наступает новая эра жизни: сплошная коммунистическая Осанна. Все усердные строители Коммуны. Все веруют только в науку и коммунизм. Все поступают только в полном соответствии с социальной целесообразностью и всеобщей пользой. Поверим, что эта пресловутая всеобщая польза всегда совпадает с моей личной пользой. Что любовник охотно уступит свою горячо любимую человеку, для которого она нужна, как условие для максимального повышения его производительности труда, более общественно важного, чем труд его, любовника менее значительного социального качества. Все пережитки прошлого исчезли. Нет ни веры в Бога, ни бесцельного и беспочвенного эстетизма, нет ни антисоциальных половых экстазов, ни разрушающей нормальную трудоспособность ревности — тем более убийств из ревности. Изо дня в день человеку обеспечен труд — и так до бесконечности. Великолепного красавца, повесу Дон-Жуана незачем даже кастрировать: он невозможен при коммунизме, такому не дали бы прожить дольше весьма краткого срока, если бы такой и родился. При искусственном подборе особей для бессмертия Дон-Жуанов сразу исключают из списка, как и Отелло, бездельника Ромео, слабохарактерную и умеющую только любить Джульетту, критикана-скептика Ивана Карамазова, мракобеса старца Зосиму и вырожденцев-аристократов — князей к тому же — Мышкина и Андрея Болконского. Дездемоне больше нечего опасаться безумной ревности своего мужа, хотя, кто знает, обрадуется ли

она этому. Долголетием и даже бессмертием наделены только члены бригад коммунистического труда, примерные первые секретари обкомов и райкомов коммунистической партии и творцы-соцреалисты. Захочется ли мне тогда бессмертия? Сомневаюсь.

И какая личная драма! Допустим, я не автор даже подневольно-жизнерадостных гимнов коммунистическому труду. Допустим — я сам трудящийся. Я — работник редкой и нужной специальности: делаю изо дня в день нарезку на винтах. При механизации и автоматизации это занятие только и требует от меня неослабного внимания и раза два-три в час нажатия какой-то чёртовой кнопки. И мне отпущено за хорошую производительность, правда, не бессмертие, а, скажем, жизнь продолжительностью в 479 лет. Я совершенно перекован, перевоспитан, дарованная мне судьбой (буде такую не упразднят) и коммуной жена — тоже специалист хорошей категории, и ей дана такая же продолжительность жизни. Нет у меня оснований ни ревновать, ни бросать плотоядные взгляды на молоденьких (жена по социальному и биологическому отбору обязана меня удовлетворять полностью), ни стремиться к опьянению, ни стремиться вырваться на свежий воздух из своей полезной обществу профессии...

Сколько же раз, если я живой человек, а не машина, я попытаюсь за эти отпущенные мне свыше 479 лет покончить с собой! Думаю, что не раз и не два. Но я — социально нужен и биологически полноценен. И меня воскресят в ла-

боратории районного значения, и снова поставят к станку, снова вернут в семейное и общественное лоно... Взорвать к чёртовой матери весь этот строй, всю эту безупречную и научно построенную машину коммунистической Осанны я не в состоянии — что может уже и сейчас сделать несчастный одиночка против тоталитарного государства! И мне остается только жить и работать до тех пор, пока это угодно руководящему центру... Жить без возможности измены любимой или любимого (а, следовательно, и без радости верности и свободной любви — любви не по соображениям социальной целесообразности и биологической пользы), без ревности и пароксизмов страсти (они физиологически вредны и социально бесполезны), без вражды и дружбы, без опьянения и уклонения от прямой линии поведения, без греха даже в старом смысле слова, но и без свободы... Нет, человек все-таки найдет способ окончательного самоубийства! Верю в это!

Боже, как прекрасен и приятен Твой ад по сравнению с миром социальной Осанны! В Твоем аду я, приговоренный за злоязычие и болтливость к лизанию горячей сковороды, могу горделиво хвалиться перед скупердьями, обреченными на мучительнейшее усыхание до тонины осеннего листа — и вновь распухания до размеров бочки с золотом и банкнотами, а затем опять на усыхание... Я могу яростно завидовать лентяям, которым только и предписано бесконечно мыть полы в многочисленных комнатах адского пекла. Зависть и гордость,

хвастовство и интриги — этого не отнимает у нас, грешных, Твой ад, а все это — все-таки полнокровная жизнь, с ее волнениями и надеждами . . .



Кажется, сама идея бессмертия пришла нам в голову непосредственно после мига наиболее интенсивного напряжения всех наших жизненных сил. Она родилась в самый острый момент совокупления, когда рушатся стенки между я и не-я, когда в любовном слиянии я и не-я перерождаются в мы. Разбить скорлупу нашего извечного отъединения в мистическом слиянии с Миром-Всеполнотой, с Богом — это дано лишь очень немногим и лишь в очень немногие мгновения жизни этих немногих. Но всем нам дано это соприкосновение с вечностью и Всецелой Полнотой в половом акте, недаром и физически, и духовно, и в художественном творчестве человечества неслиянно-нераздельно связанном с жизнью и смертью, с радостью и страданием, с грехом и воздаянием, с вечностью и полным исчезновением.

Идея и сама практика современного научного долголетия и бессмертия тесно связана — на Западе и, в еще более сильной форме, в коммунистических странах — с идеей планового, научного производства и воспроизводства новых пополнений рода человеческого. Оторвать само дело порождения новых поколений от чисто сексуального влечения мужчины и женщины

— об этом много пишется, об этом много думают. Подбор наилучших — с биологической и социальной точек зрения — комбинаций — это мало совместимо с любовью и жизнью — как их понимали раньше и понимают теперь сами любящие. Даже свальный грех, даже грех дочерей Лота чище и прекраснее этого научного подхода к порождению новой жизни!

Будем надеяться, что именно половое влечение, со всеми его экстазами и преступлениями, муками и радостями, придет на помощь человеку в борьбе за его свободу от принудительного социально-полезного долголетия и бессмертия. Предельное долголетие и бессмертие хороши только тогда, когда они свободны, когда они насыщены творческим началом, когда они исходят от тебя самого и Бога, а не чиновника из управленческого бюро той или иной степени . . .

1966.

Осень-Латона латунию обивает мне сердце,
как Ниоба к небу простираю руки,
моля о последнем порожденьи.
Осень-суббота, за что?

Лысеют деревья, как оголяется моя голова, —
долгая спячка ждет их под серебряными риза-
ми сна,
и они не думают о грядущем воскресении.
Да и воскреснут они ли?

Новая листва-Ниоба залепечет по-ребячьи:
— Мама . . .

Снова Латона нахмурит латунные брови,
ревнуя рьяно к свежей ветренности возлюб-
ленного, —
и новая неделя года — уже не та, ушедшая на-
веки . . .

Суббота, останься, отдайся, остановись!
Нет у осени сил для веры в воскресенье . . .

1966.

Ты думаешь, это легко —
быть суровым, как солдатское сукно,
когда душа протягивает тысячи своих рук
к светлому ожерелью жданно-желанных
встреч,
к бисерным нитям радостных слез?

Нет, не легко быть начищенным
как медная пуговица военного мундира,
когда рассечен надвое
казачьей шашкой разлуки.

О, скорей бы срастись,
как березка, на которой пробовали остроту
шашки,
но вновь слившаяся в таинстве соития —
неистребимом волении любви.

1966.

Вьются флаги, веселые флаги,
насупилось раннее утро —
флаги дразнят его, как мальчишки,
размахивающие пестрыми шарами,
прежде чем запустить их в небо.
А нищие ветви деревьев
протянулись к небу за осенним подая-
нием —
медяками синего октября —
ну, на чашку кофе поздней любви,
последней любви
за стойкой пригородной забегаловки.

Осень, подай мне пятак!

1966.

Телá и вечности — одно и то же,
и души в двуединстве тел слиянья
войдут друг в друга:
Вечность и Подруга.

В объятых истечения двух токов
прольется миг, и жизнь, и воскресенье
истоков совершенного сознанья.

Познанья яблоко, запретное как память,
добра и зла сверхсмысленная зáмать,
ты — Вечность вечностей —
взаимная самоотдача —
единство всех единственных единств.

1966.

Растрезан день — подстреленная птица, —
стремглав в падении —
взмах крыльев все слабей,
и капли крови на еще зеленых,
еще не обнажившихся пред смертью деревьях.

А птица не кричит —
последних содроганий,
последней сүтеми безмолвное «люблю».

День без тебя —
подстреленная птица, —
я больше не могу
без крыльев, без тебя.

1966.

... О вечной жизни молят небеса,
для вечной жизни моют агрегаты ...
И выпала кровавая роса
на Стратилата латанные латы.

И Стратилат сгребает сперму звезд,
перегоняет в колбах и ретортах —
дабы в теплицах рожениц-борозд
выращивались вечности когорты.

Гудят в густой тайге колокола:
поддонный Китеж падок на моленья.
Визжит на Керженце безбожная пила:
возводит новое безбожное строенье ...

[1947] 1967.

ЛЕТНИЙ ЦИКЛ

Перевод с английской рукописи

Евгении Жиглевич

и

Бориса Филиппова

ЧУЖОЙ ПО СУТИ

Вот мир пустой: всезнатоки
улыбчивые, как бычки вальяжные чинуши,
любовники, потраченные молью и червями . . .

Чужак, как есть,
прибредший поздно к красоте,
созревший в ожиданьях и ошибках.

Животное начало восприняло в нем
зоны всё растущего ума,
и он ошеломлен и посегодняя
влеченьем пола, экскрементами и смертью.

Писал он женщинам стихи,
воюя с плотью,
знал наизусть солено-сладкий вкус
и слишком хорошо он помнил наготу —
как мушек шпанских в черепной коробке.

Знал одиночество, прикрытое искусством,
метафор замкнутость,
речей глухие стены, что не в силах проломить
влечение, — речей, контузящих его самосо-
знание.

И выветрились силы — и остался
лишь тощий и весь в лоске — в постоянстве
нагого камня изваянный —
какой-то натюрморт, на кресле в беспредельно-
сти сидящий
и пялящий глаза на книжек корешки.

И вдруг, внезапно — в музыке — откроется бы-
тийность,
и шелуха его планеты вся в огне.

12 мая 1966.

ЗАМЕТА ЛИЧНАЯ

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten
die Grenzen meiner Welt.

В молчаньях режущих, в метафоре горчайшей
обличены все годы его жизни,
зажатые коробкой черепа, расслабленные плоти
тупую жалостью —
последняя любовь,
панически вломившаяся в одинокость.

Изобретатель всех этих невнятиц,
круг завершен его и сдержки полон;
ответы мертвые,
отлюбленные им подобья —

да служит это лето
израненности, мудрости и слову.

24 июня 1966.

МОНОЛОГИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Тот, отягченный завершеньем его лета —
порою горько-сладкою падения плодов, —
буксирный челн любовный клонится к земле,
ею отвергнутый и роковой.

С ошибками своими разделяет дом свой,
и ранами — детьми своей любви
и чадами намерений премудрых.

Эстетское животное, он знает
всегдашнее несовершенство акта — фокус при-
ложенья сил, —
нет, одного влеченья, возвращаемого вновь
в словах — и только.

Всех возвращений невозможностью научен —
ни к детству, ни к любви, ни к городу своих
лет юности, ни к музыке второго
рожденья своего — к утраченному милому
жилью, —

он не случайный гость на инфернальной тверди:
несожигаемый, сжигает онтологии довольств,
метафору и мрамор.

Всё учится еще он мастерству отъединенья,
согласный быть заштатнейшим статистом
шумливого конца столетья.

Он убегает ночью
из мифоложества предместий городских,
становится предельным меньшиством
и гражданином, путь преграждающим в свой
осажденный град —
извечное ущелье.

Он доказал существенность приобретенья:
движенья от известного к тому, что неизве-
стно, —
он, погруженный в слово, претворенный
до зрелости такой,

что редко делит с кем-либо он ложе
и книги он свои.

Полны значимости такие
тожества краткие:
в л а д ы к а и п о д в л а с т н ы й.

29 августа 1966.

СРЕДИ ПРОЗРАЧНОСТЕЙ

Вернулись сумерки с дождем
и мглистая пора тоски печально-нежной,
запахло сентябрем.

Омыт от прегрешений сумрак серебристый.
И долгий и отлогий страстей откос
в безмолвьи растворен.

Притворства нет. И легкой чередой
идут среди прозрачностей
единороги, царственные жены
и осени предельный час.

Не потеряет он надежду на ответ,
старик, желаньями палимый,

сжимающий в кулак течение ртути — время.

Лето 1966.

ПОСЛЕДНЯЯ МЕТАФОРА

И наконец придет он —
покоя мир — преодоление
насилия — музыка конца.

Не будет там желаний — только
воспоминаний плоская и длинная долина,
лишенная неровностей и вех.

Всё бывшее сольется неприметно
в единство с невозможным,
черты прияв малозначительного мифа.

Плоть истонченная его, просвечивая на-
сквозь
в пространствах суверенного сознания,
излишним сделает обилье нервных тканей.

Он, статься может, увидит наконец,
в тот тихий мир, — и увидит оголенным
до замыслов своих самых поддонных —
метафора последнего конца.

19 сентября 1966.

ЭПИЛОГ

С балкона этого три осени почили,
и ныне умерла последняя: листва — любовь
опавшая — всё прожитое —

он вызревает этими смертями.

22 сентября 1966.

СОДЕРЖАНИЕ

КУРЯТНИК РАДОСТИ. Три рассказа

Блажен иже и скоты милует	9
Усы	14
Любовь	21

НА ПЕРЕЛЕТЕ. Стихи

Петрушка	29
Верди	36
Не повторится свежесть поцелуя	37
Против ветра скачет сказка .	38
Среди снопов лютеранский храм	39
«Дом Глинки»	40
Ну, что ж? Чужие очаги увидим	42
Смейся: улыбка: прозрачна листва	43
Сладким клеем пахнут почки	44
Серебряные трубы	45
О, родины дальней зарницы .	46
На рыжих холмах золотой виноград	47
Солдатский крест, надтреснута душа	48
Седьмая печать сломилась	49
Ну, конечно, ты в ответе	50
Да, вот так. Мы будем жить на свете	51
Цыганский романс	52
Гитарное	53

Как ежик для мойки посуды	54
Аргонавты	55
Сибелиус	57
И дерево в окне — среди громад	58

БЕССМЕРТИЕ?

Бессмертие?	61
Осень-Латона латунию обивает мне сердце	71
Ты думаешь, это легко	72
Вьются флаги, веселые флаги	73
Тела и вечности — одно и то же	74
Растерзан день — подстреленная птица	75
О вечной жизни молят небеса	76

ЛЕТНИЙ ЦИКЛ. Переводы с английской рукописи Евгении Жиглевич и Бориса Филиппова

Чужой по сути	79
Замета личная	81
Монологическое существование	82
Среди прозрачностей	84
Последняя метафора	85
Эпилог	85

КНИГИ БОРИСА ФИЛИПОВА

- ГРАД НЕВИДИМЫЙ.** Стихи. Рига, 1944. **Распродана.**
- КРЕСТЫ И ПЕРЕКРЕСТКИ.** Рассказы и очерки.
Изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1957, 159 стр.
Цена 1.50 долл.
- ВЕТЕР СКИФИИ.** Стихи 1942—1959. Вашингтон,
1959, 48 стр. Цена .75 долл.
- НЕПОГОДЬ.** Стихи 1942—1960. Вашингтон, 1960,
32 стр. **Распродана.**
- СКВОЗЬ ТУЧИ.** Повесть в 4-х рассказах. Вашингтон,
1960, 191 стр. Цена 1.85 долл.
- ПЫЛЬНОЕ СОЛНЦЕ.** Рассказы. Вашингтон, 1961,
47 стр. Цена .85 долл.
- ВРЕМЯ ВРЕМЕНИ.** Стихи 1942—1961. Вашингтон,
1961, 32 стр. **Распродана.**
- РУБЕЖИ.** Стихи 1942—1962. Вашингтон, 1962, 24
стр. **Распродана.**
- ПОЛУСТАНКИ.** Мимолетности, ни на что не претендующие. Рассказы. Вашингтон, 1962, 4+48 стр. Цена .85 долл.
- МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА.** Повесть и рассказы. Вашингтон, 1963, 100 стр. Цена 1.25 долл.
- СТЫНУЩАЯ ВЕЧНОСТЬ.** Стихи 1941—1963. Вашингтон, 16 стр. Цена .40 долл.
- КОЧЕВЬЯ.** Рассказы. Вашингтон, 1964, 59 стр. Цена 1.00 долл.
- ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ.** Литературные очерки. I. Вашингтон, 1965, 115 стр. Цена 1.75 долл.

Готовится к печати:

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ. Литературные очерки. II. Нью-Йорк, 1967.

